



*То, что на виду, мне нравится  
примерно так же, как и то,  
что скрыто*

Воскресенье тоже выдалось ясным, ветра почти не было. В лучах осеннего солнца переливалась листва самых разных оттенков. Расположившись на террасе, я наблюдал, как белогрудые птички, порхая с ветки на ветку, проворно клевали красные плоды. Красота природы беспристрастна и одинаково доступна как богатым, так и беднякам. То же и с временем. Хотя нет. Время — это нечто иное. Его богатеи приобретают за деньги, с запасом.

Ровно в десять, взобравшись по склону, перед домом возникла ярко-синяя «тоёта приус». На сей раз Сёко Акигава была в узких бледно-зеленых брючках из хлопка и бежевой обтягивающей водолазке. На шее поблескивала золотая цепочка. Прическа, как и прежде, — почти идеальная. Когда волосы покачивались, из-под них выглядывал затылок. Сегодня Сёко оставила прежнюю дамскую сумочку дома и взяла замшевую, с ремнем через плечо, на ногах — коричневые парусиновые туфли. Вся одежда простая, но наряд продуман до мелочей. Грудь у нее и впрямь красивая. Ее племянница сказала бы — «без подкладок». Можно сказать, бюст ее меня пленил — исключительно в эстетическом смысле.

А вот Мариэ Акигава сегодня выглядела совсем иначе, повседневно — в потертых голубых джинсах и белых кедах «Конверс». На джинсах местами зияли дыры, разумеется — нарочно сделанные с превеликой осторожностью. Сверху

же на ней была плотная клетчатая рубаха — обычно такие носят лесорубы, а на плечи накинута тонкая серая ветровка. Бугорков груди по-прежнему не наблюдалось, а на лице — прежняя кислая мина. Как у кошки, у которой отобрали миску с едой, едва она принялась за еду.

Как и в прошлый раз, я заварил черный чай и принес его в гостиную. Затем показал гостям три эскиза, которые набросал на прошлой неделе. Сёко Акигаве, похоже, они понравились.

— Какой ни возьми, Мариэ выглядит естественней, чем даже на фотографии. Прямо как живая.

— Это... можно взять? — спросила у меня Мариэ Акигава.

— Конечно, — ответил я. — Когда картина будет готова. Пока же эскиз может мне пригодиться.

— Как ты себя ведешь?.. — укоризненно сказала племяннице тетушка и обратилась ко мне: — Что, действительно можно? — обеспокоенно спросила она.

— Не имеет значения. Завершу портрет — и они мне не нужны.

— Значит, какой-то вы используете для наброска? — спросила Мариэ.

Я покачал головой:

— Ни один не стану. Эти эскизы я сделал лишь для того, чтобы нащупать твой объемный образ. На холсте же я буду писать другую тебя.

— Выходит, образ уже сложился у вас в голове?

Я опять покачал головой:

— Нет еще. Мы с тобой будем создавать его вместе.

— Нашупывать меня объемно? — уточнила Мариэ.

— Именно, — ответил я. — Материально холст — поверхность плоская. А портрет нужно писать в объеме, понимаешь?

Мариэ нахмурилась. Мельком взглянув на обтянутую водлазкой грудь тети, она перевела взгляд на меня, и я предположил, что при слове «объемный» она, вероятно, задумалась о форме собственной груди.

— Как удастся так умело рисовать?

— Ты про эскиз?

— И про эскиз, и про кроки на занятиях.

— Практика. Рисую, постепенно набиваешь руку.

— Но ведь немало и тех, у кого так не получается, сколько б ни рисовали.

Она была права. Сколько моих сокурсников практиковались — но рисовать так и не научились. Как ни старайся, способности людей во многом зависят от их врожденных качеств, хотя об этом сейчас благоразумней умолчать, иначе разговору не будет ни конца, ни края.

— Но это не значит, что можно не практиковаться. Вне сомнения, существует немало талантов и качеств, которые не проявятся, если их не развивать.

Сёко Акигава была полностью со мной согласна, а Мариэ лишь поджала губы, как будто не торопилась принять мои слова на веру.

— Ты ведь хочешь научиться рисовать? — поинтересовался я у Мариэ.

Она кивнула.

— Что на виду, мне нравится примерно так же, как и то, что скрыто.

Я посмотрел ей в глаза и заметил в них некий блеск. Я не очень понял, что она имела в виду, но привлекли меня даже не ее слова, а искорки в глубине ее глаз.

— Весьма странное замечание, — отозвалась Сёко Акигава. — Прямо загадками ты говоришь.

Мариэ, ничего на это не ответив, разглядывала свои руки. Вскоре она подняла голову: блеска у нее в глазах как не бывало. Вспышка эта длилась лишь миг.

Мы с Мариэ Акигавой ушли в мастерскую. Сёко достала из сумочки тот же, как мне показалось, *пocketбук* и, откинувшись на спинку дивана, тут же погрузилась в чтение. Похоже, читала она запоем. Мне еще сильнее захотелось

узнать, что это за книга, но спросить название я постеснялся.

Мариэ и я, как и в прошлый раз, расположились в паре метров друг напротив друга. Только теперь передо мной стоял мольберт с холстом, но время кистей и красок пока не пришло. Я попеременно смотрел то на девочку, то на чистый холст и размышлял, как перенести ее облик на него *объемно*. Ведь для этого требуется некая *история*. Банальное копирование — не творчество: тогда у меня получится удачный портрет, но никак не произведение искусства. Мне же предстояло не просто перенести ее облик на холст как есть, а именно отыскать ту *историю, что должна быть там отображена*. И это станет для меня важной отправной точкой.

С высоты своего табурета я долго смотрел на лицо Мариэ Акигавы, которая сидела на стуле из столовой. Она не отводила глаз и почти не моргала в ответ на мой взгляд. Смотрела на меня она не вызывающе, но в ее глазах читалось решительное «не отступлю». Правильные, буквально кукольные черты лица, как правило, создавали у людей ошибочное впечатление, но характер у девочки был крепкий, в ней чувствовался стержень. Такая неколебимо пойдет своим путем, ее с него не собьешь.

Если присмотреться, было в ее взгляде нечто от Мэнсики. Это я ощущал и прежде, но сейчас это сходство поразило меня вновь. Станный блеск ее глаз — его так и подмывало назвать «оледеневшим пламенем», — пылкий и одновременно всецело спокойный, напоминал какой-то драгоценный камень, что мерцает сам в себе. Во взгляде этом остро сталкивались две силы: он искренне звал к открытости и был направлен внутрь, как бы стремясь к завершенности.

Однако подобная трактовка вполне могла возникнуть у меня и после недавнего признания Мэнсики в том, что девочка, возможно, — его родная дочь. А раз такая связь существует, возможно, я неосознанно стараюсь обнаружить и нечто схожее между ними.

Так или иначе, мне предстояло изобразить на портрете эту *изюминку* ее взгляда. Саму суть выражения ее лица, нечто, приоткрывающее потайную дверку всей ее внешности — вот что важно. Однако я пока не мог отыскать тот контекст, какой мог бы вписать в ее портрет. Не постараюсь это сделать — выйдет лишь холодная стекляшка, а не самоцвет. Мне же нестерпимо хотелось узнать, откуда взялся тот источник тепла у нее во взгляде и куда он устремлен.

Минут пятнадцать я смотрел то на холст, то на лицо девочки, а после оставил эту затею. Отодвинув мольберт в сторону, я несколько раз глубоко вдохнул.

— Давай поговорим, — произнес я.

— Давайте, — ответила Мариэ. — О чем?

— Хочу побольше о тебе узнать — если, конечно, ты не против.

— Например?

— Скажем, твой отец — он какой?

Мариэ слегка скривилась.

— О папе я мало что знаю.

— Редко беседуете?

— Да и видимся не часто.

— Наверное, занят работой?

— Я не знаю, чем он там занят, — ответила Мариэ. — Помоему, он мною просто не интересуется.

— Не интересуется?

— Потому и бросил меня на тетю.

Я ничего на это не ответил.

— А маму ты помнишь? Тебе ведь было шесть лет, когда она умерла.

— Мама мне вспоминается какими-то *обрывками*.

— В смысле?

— Слишком быстро ушла она из моей жизни. Я тогда еще не понимала, что значит «человек умирает», поэтому считала, что ее просто *не стало*. Как дыма, ускользнувшего в щель. — Мариэ помолчала, а затем продолжила: — Вот

только не стало ее так внезапно, что я никак не могла взять в толк, почему это случилось. Поэтому мне и трудно вспомнить, что было до, а что после ее смерти.

— Тебе, видимо, пришлось нелегко?

— То время, когда мама была, и то, когда ее не стало, словно бы разделилось высокой стеной — и вместе эти половинки уже не сойдутся, — помолчав, сказала Мариэ и прикусила губу. — Понимаете меня?

— Надеюсь, что да, — ответил я. — По-моему, я рассказывал в прошлый раз про мою младшую сестру, которая умерла, когда ей было двенадцать?

Мариэ кивнула.

— У нее был врожденный порок сердца. Ей сделали сложную операцию, все прошло успешно. Но недуг почему-то остался, а это — как жить с бомбой в теле. Поэтому у нас в семье все были готовы к худшему, всегда. Иными словами, это не стало для нас градом с ясного неба, как было с твоей мамой.

— Градом?

— Так говорят — «град с ясного неба», — сказал я. — Когда в погожий день внезапно сыплет град. Ну, то есть неожиданно происходит то, чего даже не предполагали.

— Град с ясного неба... — повторила она. — Какие там иероглифы?

— Ясное небо — «голубой» и «небо». Град — сложные, я сам не помню. Ни разу не писал. Посмотри в словаре, как вернешься домой, если хочешь.

— Град с ясного неба, — еще раз повторила она. Эта фраза словно заняла выдвижной ящичек в ее голове.

— Как бы там ни было, мы в определенной мере представляли, что может случиться. Но на самом деле, когда у сестры внезапно случился приступ, и она в тот же день умерла, никакая наша готовность не пригодилась. Меня буквально подкосило. Да и не только меня — всю семью.

— После у вас внутри, наверное, много что переменялось?

— Да, после этого — *и внутри, и вокруг* меня многое пере-  
менилось совершенно. Даже время потекло иначе. Как ты  
верно подметила, все разделилось надвое так, что половин-  
кам уже никогда не сойтись.

Мариэ секунд десять пристально смотрела на меня, затем  
сказала:

— Сестра была вам очень дорога?

Я кивнул.

— Да, очень.

Мариэ Акигава опустила взгляд и о чем-то крепко задумалась. После чего вновь посмотрела на меня и произнесла:

— Из-за этого барьера в памяти я не могу толком вспомнить маму. Какой она была, как выглядела, что мне говорила. Отец мне тоже о ней почти ничего не рассказывает.

Мне известны о матери Мариэ Акигавы лишь мельчайшие подробности того, как Мэнсики переспал с ней в последний раз. Он же сам рассказывал мне о том страстном соитии на диване в у него в кабинете, которое, вероятно, и привело к зачатию Мариэ. Но об этом, разумеется, девочке не сообщишь.

— Но ты хоть что-то о ней помнишь? Ведь до шести лет вы прожили вместе.

— Только запах.

— Запах маминого тела?

— Нет, не тела — дождя.

— Запах дождя?

— Тогда шел дождь. До того сильный, что было слышно, как капли бьют по земле. А мама шла по улице, не раскрывая зонтика. Я тоже шла под дождем, держа ее за руку. Кажется, было лето.

— То был, значит, летний ливень?

— Скорее всего. И стоял такой запах, когда первые крупные капли дождя лупят по раскаленному солнцем асфальту. Вот его я и запомнила. Место было чем-то вроде смотровой площадки на горе, и мама пела песню.



— Какую?

— Мелодия вылетела у меня из головы, а слова... слова я помню. «На той стороне реки лежит луг. Там все залито ярким солнцем, а здесь беспросветный нудный дождь». Что-то вроде. Вам доводилось ее слышать, сэнсэй?

Такой песни я не припоминал.

— По-моему, нет.

Мариэ Акигава слегка пожала плечами:

— Я спрашивала у разных людей, но эту песню не слышал никто. Интересно, почему? Может, я ее сама придумала?

— Или же мама прямо там сочинила ее. Для тебя.

Мариэ подняла на меня глаза и улыбнулась.

— Такое мне даже в голову не приходило. Но если это правда, до чего же это прекрасно.

И тут я впервые увидел, как она улыбается. Та улыбка была будто яркий луч, что прорвался сквозь толщу туч и осветил какой-то особый клочок земли.

Я спросил у Мариэ:

— Если туда вернуться, ты сможешь узнать это место? Смотровую площадку на горе?

— Пожалуй, да, — ответила Мариэ. — Не уверена, но, пожалуй, вспомню.

— Прекрасно, что ты хранишь в себе ту сцену, — сказал я. Мариэ просто кивнула.

Затем какое-то время мы вместе наслаждались птичьим щебетом. За окном высилось безоблачное осеннее небо. Мы думали каждый о своем.

— Вон та картина, что стоит лицом к стене, — это что? — первой нарушила молчание Мариэ.

Девочка показывала на тот портрет, что написал — вернее, попытался, «Мужчина с белым “субару форестером”». Чтобы не смотреть на этот холст, я прислонил его к стене да так и оставил.

— Начатая картина. Собирался нарисовать одного человека. Но отложил на потом.

— Покажете?

— Покажу. Хотя она не окончена.

Я развернул картину и поставил на мольберт. Мариэ поднялась со стула, подошла и, скрестив на груди руки, принялась ее рассматривать. В ее глазах опять вспыхнул тот резкий блеск, а губы плотно сжались едва ли не в прямую линию.

Тот портрет я начал писать лишь в красных, зеленых и черных тонах, и мужчина, который должен был занять там свое место, отчетливо еще не проступил на холсте. Сама фигура его, набросанная углем, теперь скрывалась под красками. Он сам отказался воплощаться далее, но я понимал, что он где-то здесь. Я улавливал самую его суть — так невод охватывает рыбу, не видимую в пучине моря. Я стремился найти способ вытащить этот невод, а мужчина мне мешал. Пока мы с ним так препирались, работа над картиной приостановилась.

— И на этом вы бросили? — спросила Мариэ.

— Ну да. И дальше наброска продвинуться не могу.

Мариэ тихо сказала:

— Но даже и так портрет выглядит вполне законченным.

Я встал рядом с девочкой и заново взглянул на холст. Неужели ей виден облик скрытого в этом мраке мужчины?

— То есть ты считаешь, что лучше ничего уже не добавлять?

— Ага. Мне кажется, можно все оставить, как есть.

Я сглотнул слюну. Ее устами со мною будто говорил сам мужчина с белым «субару»: *Оставь картину, как есть, не вздумай ничего добавлять.*

— Почему ты так думаешь? — спросил я.

Мариэ ответила не сразу. Сосредоточенно посмотрев на картину еще сколько-то, она отняла руки от груди и прижала их к щекам — словно пыталась их остудить. После чего сказала:

— В ней и так достаточно силы.

— Достаточно силы?

— Мне так кажется.

— И сила эта не слишком *добрая*?

Мариэ на это ничего не ответила — лишь продолжала держаться ладонями за щеки.

— Сэнсэй, а вы хорошо знаете этого мужчину?

Я покачал головой:

— Нет. Признаться, я о нем не знаю ничего. Случайно встретился с ним не так давно, пока путешествовал, в каком-то городке в глуши. Мы с ним даже не разговаривали, и я не знаю, как его зовут.

— Добрая это сила или нет — непонятно. Наверное, может быть то хорошей, то плохой, ведь все выглядит иначе под разными углами.

— Но ты считаешь, что ее лучше не воплощать на холсте?

Она посмотрела мне в глаза.

— Если воплотить, а она окажется *недоброй*, — как с ней быть? Вдруг она и сюда дотянется...

А ведь она права, подумал я. Если сила эта окажется совсем не *добррой*, если она будет *злой* и дотянется до сюда... как мне с ней быть?

Я снял картину с мольберта, развернул к стене и поставил на прежнее место. Царившее в мастерской напряжение словно бы мигом улетучилось.

Пожалуй, будет лучше хорошенько упаковать эту картину и отнести на чердак, подумал я. Примерно так же, как Томохико Амада убрал с глаз долой свою.

— Ладно, а что скажешь об этой картине? — спросил я, показывая на стену, где висело «Убийство Командора».

— Эта мне нравится, — не колеблясь, ответила Мариэ. — Кто ее нарисовал?

— Томохико Амада, хозяин этого дома.

— Эта картина к чему-то зовет. Такое чувство, будто птица хочет вырваться из тесной клетки на волю.

Я посмотрел на девочку.

— Птица? Какая еще птица?

— Какая птица, какая клетка — я не знаю. Ни образа, ни облика их я разобрать не могу, только чувствую. Пожалуй, эта картина для меня слишком сложная.

— Не только для тебя. Для меня, по-моему, тоже. Но как ты верно подметила, автор перенес на холст свое сильное стремление донести что-то людям. Это и я ощущаю, вот только никак не могу догадаться, что именно он хотел сказать.

— Кто-то кого-то убивает. Из страсти.

— Так и есть. Молодой мужчина, решившись, пронзает мечом грудь другого. А тот, в свою очередь, обезкуражен тем, что его убивают. Окружающие, затаив дыхание, следят за происходящим.

— А справедливое человекоубийство — такое бывает?

Я задумался.

— Не знаю. Тут все зависит от выбора нормы — что справедливо, а что нет. Взять, к примеру, смертную казнь. В мире немало людей, считающих ее справедливым убийством. — Или же политическое покушение, подумал я.

Мариэ, немного подумав, сказала:

— Но эта картина не вызывает мрачных чувств, хотя на ней убивают и пролито много крови. Она будто куда-то манит. Туда, где нет нормы справедливости.

В тот день я за кисть больше не брался. В залитой солнцем мастерской мы просто болтали с Мариэ, и у меня в памяти откладывалось, как меняется у нее мимика, как девочка жестикулирует. Этот запас памяти и станет для меня плотью и кровью портрета, который мне предстоит написать.

— Сэнсэй, вы сегодня ничего не нарисовали, — сказала Мариэ.